



## **А. И. ДЕНИКИН**

### **<«...Одинокая и уже обреченная всем ходом предшествовавших событий фигура»>**

Временное правительство особым актом осудило поступок Гучкова, «сложившего с себя ответственность за судьбы России», и назначило военным и морским министром Керенского. Я не знаю, как вначале отнеслись в армии к этому назначению, но в Ставке без предубеждения. Керенский совершенно чужд военному делу и военной жизни, но может иметь хорошее окружение; то, что сейчас творится в армии, — просто безумие, понять это не трудно и невоенному человеку; Гучков — представитель буржуазии, правый, ему не верили; быть может, теперь министру-социалисту, баловню демократии удастся рассеять тот густой туман, которым заволокло сознание солдат...

Тем не менее нужна была огромная смелость или самоуверенность поднять такую ношу, и Керенский не раз перед армейской аудиторией подчеркивал это обстоятельство: «В то время, когда многие военные люди, изучавшие военное дело десятилетиями, отказывались взять пост военного министра, я — невоенный человек — взял его»... Никто, положим, не слышал никогда, чтобы в мае предлагали портфель военного министра военному лицу... И притом оригинально это сопоставление знания и опыта, как будто наличие этих именно «предрассудков» искала революционная демократия в своих избранных; как будто Керенский понимал хоть сколько-нибудь военное дело.

Первые же шаги нового министра рассеяли наши надежды: привлечение в сотрудники еще больших оппортунистов, чем были раньше, но лишенных военно-административного и боевого опыта, окружение людьми из «подполья», — быть может, имевшими очень большие заслуги перед революцией, но совершенно не понимающими

жизни армии, все это вносило в действия Военного министерства новый, чуждый военному делу элемент партийности. Керенский через несколько дней после своего назначения издал декларацию прав солдата, чем предопределил все дальнейшее направление своей деятельности.

11-го мая министр проезжал через Могилев на фронт. Нас удивило то обстоятельство, что проезд назначен в 5 часов утра, и в поезд приглашен только начальник штаба. Военный министр как будто избегал встречи с Верховным главнокомандующим. Разговор со мной был краток и касался частных вопросов — усмирения каких-то беспорядков, возникших на одной из узловых станций и т. п. Капитальнейшие вопросы бытия армии и предстоящего наступления, необходимость единства взглядов, между центральным управлением и командованием, отсутствие которого сказывалось с такой разительной ясностью, — все это, по-видимому, не привлекало никакого внимания министра. Между прочим, вскользь Керенский бросил несколько фраз, о несоответствии своему назначению главнокомандующих фронтами, генералов Гурко<sup>1</sup> и Драгомирова, что вызвало протест с моей стороны. Все это было весьма симптоматично и создало в Ставке нервное, напряженное ожидание...

Керенский ехал на Юго-Западный фронт, открывая знаменитую словесную кампанию, которая должна была двинуть армию на подвиг. Слово создавало гипноз и самогипноз. Брусиллов доносил в Ставку, что всюду в армии военный министр был встречен с необыкновенным подъемом. Керенский говорил, говорил с необычайным пафосом и экзальтацией, возбуждающими «революционными» образами, часто с пеной на губах, пожиная рукоплескания и восторги толпы. Временами, впрочем, толпа поворачивала к нему лик зверя, от вида которого слова останавливались в горле и сжималось сердце. Они звучали предостережением, — эти моменты, но новые восторги заглушали их тревожный смысл. И Керенский докладывал Временному правительству, что «волна энтузиазма в армии растет и ширится», что выясняется определенный поворот, в пользу дисциплины и возрождения армии. В Одессе он поэтизировал еще более неумеренно: «В вашей встрече я вижу тот великий энтузиазм, который объят страну, и чувствую великий подъем, который мир переживает раз в столетия...»

Будем справедливы. Керенский призывал армию к исполнению долга. Он говорил о долге, чести, дисциплине, повиновении, доверии к начальникам, говорил о необходимости наступления и победы. Говорил словами установившегося революционного ритуала, кото-

рые должны были найти доступ в сердца и умы «революционного народа». Иногда даже, почувствовав свою власть над аудиторией, бросал ей смелое, становившееся крылатым слово о «взбунтовавшихся рабах» и «революционных держимордах»... Вотще! Он на пожаре русской храмины взывал к стихии — «погасни!» — вместо того, чтобы тушить огонь полными ведрами воды.

Слова не могли бороться с фактами, героические поэмы с суровой прозой жизни. Подмена Родины Свободой и Революцией, не уяснила целей борьбы. Постоянное глумление над старой «дисциплиной», над «царскими генералами», напоминание о кнуте, палке и «прежнем солдатском бесправии», или о «напрасно пролитой» кем-то солдатской крови — все это не могло перекинуть мост через пропасть между двумя составными частями армии. Страстная проповедь «новой сознательной железной революционной дисциплины», т. е. дисциплины, основанной на «декларации прав солдата» — дисциплины митингов, пропаганды, политической агитации, безвластия начальников и т. д. — эта проповедь находилась в непримиримом противоречии с призывом к победе.

Воспринимавший впечатления, в искусственно приподнятой театрально-митинговой атмосфере, окруженный непроницаемой стеной партийных соратников — и в Министерстве, и в объездах, в лице приближенных и всевозможных делегаций, депутатий советов и комитетов, Керенский сквозь призму их мировоззрения смотрел на армию, не желая или не умея окунуться в подлинную жизнь армии, и в ее мучениях, страданиях, исканиях, преступлениях, наконец, почерпнуть реальную почву, жизненные темы и настоящие слова. Эти будничные вопросы армейского быта и строя — сухие по форме и глубоко драматичные по содержанию — никогда не составляли темы его выступлений. В них была только апология революции, и осуждение некоторых сделанных ею же извращений, в идее государственной обороны. <...>

Керенский, фактически сосредоточивший в своих руках правительственную власть, очутился в особенно трудном положении: он не мог не понимать, что только меры сурового принуждения, предложенные Корниловым, могли еще, быть может, спасти армию, освободить окончательно власть от советской зависимости и установить внутренний порядок в стране. Несомненно, освобождение от советов, произведенное чужими руками или свершившееся в результате событий стихийных, снимавших ответственность с Временного правительства и Керенского, представлялось ему государственно-полезным и желательным. Но добровольное принятие предуказанных

командованием мер вызвало бы полный разрыв с революционной демократией, которая дала Керенскому имя, положение и власть и которая, не взирая на оказываемое ею противодействие, все же, как это ни странно, служила ему хоть и шаткой, но единственной опорой. С другой стороны, восстановление власти военного командования угрожало не реакцией — об этом Керенский часто говорил, хотя вряд ли серьезно в это верил — но, во всяком случае, перемещением центра влияния от социалистической к либеральной демократии, крушением социал-революционерской партийной политики и утратой преобладающего, быть может, и всякого, влияния его на ход событий. К этому присоединилась и личная антипатия между Керенским и генералом Корниловым, из которых каждый не стеснялся высказывать подчас в весьма резкой форме свое отрицательное отношение один к другому и ожидал встретить не только противодействие, но и прямое покушение с противной стороны. Так генерал Корнилов опасался ехать к 10-му августу в Петроград на заседание Временного правительства, ожидая почему то смещения с поста и даже личного задержания... И, когда все же по совету Савинкова и Филоненко<sup>2</sup> он поехал, его сопровождал отряд текинцев, которые поставили пулеметы у входов в Зимний дворец во время пребывания там Верховного главнокомандующего. В свою очередь Керенский еще 13–14 августа в Москве в дни Государственного совещания ожидал активного выступления со стороны приверженцев Корнилова и принимал меры предосторожности. Несколько раз Керенский возбуждал вопрос об удалении Корнилова, но, не встречая сочувствия этому решению ни в Военном министерстве, ни в среде самого правительства, с тревогой ждал развития событий. Еще 7 августа помощник комиссара при верховном главнокомандующем предупредил Корнилова, что вопрос об его отставке решен в Петрограде окончательно. Корнилов ответил: «Лично меня вопрос о пребывании на посту мало занимает, но я прошу довести до сведения кого следует, что такая мера вряд ли будет полезна в интересах дела, так как может вызвать в армии волнения»...

Раскол не ограничивался вершинами власти: он шел глубже и шире, поражая бессилием ее органы.

Временное правительство представляло механическое соединение трех групп, не связанных между собой ни общностью задач и целей, ни единством тактики: министры — социалисты, либеральные министры и отдельно — триумвират, в составе Керенского (с.-р.), Некрасова (к.-д.) и Терещенко (бесп.). Если часть представителей первой группы находила зачастую общж язык и одинаковое государ-

ственное понимание с либеральными министрами, то Авксентьева, Чернова и Скобелева, сосредоточивших в своих руках все важнейшие ведомства, отделяла от них пропасть. Впрочем, значение обеих групп было довольно ничтожно, так как триумvirат «самостоятельно решал все важнейшие вопросы вне правительства, и иногда даже решения их не докладывались последнем». Протесты министров против такого порядка управления, представлявшего совершенно не прикрытую диктатуру, оставались тщетными. В частности свое расхождение с Корниловым и вопрос о предложенных им почти ультимативно мероприятиях Керенский старался всемерно изъять из обсуждения правительства. <...>

Керенский победил. Значение этой победы сказалось не только в отношении военной мощи страны, где армия осталась без вождей, но и в области государственного управления, где остались одни вожди без «армии». Перед страной встал снова кардинальный вопрос о построении верховной власти, ибо прежняя власть разбилась окончательно в «бескровной победе» над корниловским выступлением. Таково было мнение не только «побежденных», но и «победителей». Газета Горького<sup>3</sup> говорила: «Бессильная в самостоятельной борьбе с контрреволюцией, неспособная к положительной творческой работе в деле обороны и борьбы с разрухой, живущая целиком за счет авторитета и поддержки совета и его руками выводящая страну из под смертельного удара корниловщины, — наша власть чувствует себя достаточно «независимой» и «неограниченной»... в пределах Зимнего дворца».

В центре стояла по-прежнему — одинокая и уже обреченная всем ходом предшествовавших событий фигура Керенского. Разгромив действенные силы не социалистической России, он призывал ее вновь к участию в коалиции, ведя борьбу за попираемые права буржуазии и не видя вне союза с нею иного исхода, как «ликвидацию всего Временного правительства, с премьер-министром во главе».

Революционная демократия в лице Петроградского Совета, огромным большинством голосов левых с. р-ов и большевиков, требовала устранения от власти не только партии народной свободы, но и всех цензовых элементов и передачи ее в руки исключительно «революционного пролетариата и крестьянства». Если верить Штейнбергу<sup>4</sup>, из 165 резолюций разных провинциальных организаций не менее 115 высказались за переход всей власти в руки революционной демократии, причем солдатские комитеты оказывались часто левее рабочих. К этому времени из состава президиума Совета должны были выйти Чхеидзе, Церетелли, Скобелев и Чернов, как слишком

«умеренные». В состав президиума вошли большевики и левые с. р-ы. Новый председатель Совета Бронштейн (Троцкий), сменивший Чхеидзе, считал, что народные массы уже вполне подготовлены к восприятию советской власти, но «после жестокого урока июльских дней стали только более благоразумными, отказались от собственной инициативы и ожидают призыва свыше»...

Прежние вожди — Церетели, Чхеидзе, Чернов и другие, словом вся та социалистическая интеллигенция, которая вначале стояла во главе советов, потом группировались вокруг Исполнительных комитетов и в течении шести месяцев пыталась руководить судьбами революции, оказалась, как и Керенский, в пустом пространстве. За ними не было больше никого. Они продолжали священнодействовать по инерции, все еще произнося установленные ритуалом речи, в которых, однако, доминировала явно — смертельная тревога за будущее и, может быть, тайно — заглушаемое раскаяние за погубленное прошлое. Выбора не было. Если раньше в числе различных комбинаций можно было еще говорить об однородном социалистическом министерстве, когда большинство состояло из умеренных элементов (оборонческий блок), то при новом соотношении сил вопрос стоял значительно проще: или коалиция с буржуазией, имевшая за собой по крайней мере одно преимущество — давность, или — «вся власть большевистским советам». Независимо от общегосударственного значения того вопроса, он имел для них и чисто личное: первая комбинация оставляла их на авансцене политической жизни страны, вторая низвергала в подполье...

Остановившись на первом решении, исполнительные комитеты, очевидно только лишь для соблюдения революционных традиций вели длительные, нудные и неискренние переговоры с Керенским. Вначале появилось ультимативное требование устранения от власти кадет — единственного организованного представительства демократии и буржуазии, под предлогом их участия в деле Корнилова, — требование, делавшее фактически не выполнимой идею коалиции. Потом, в результате страстных словопрений состоялся компромисс, в силу которого непосредственное руководство делами государства впредь до окончательного формирования кабинета временно возложено было на пятичленную Директорию. Постановление исполнительных комитетов ставило окончательное разрешение вопроса в зависимость от решения созываемого ими съезда всей организованной демократии («Демократическое совещание»).

На ряду с преобладающим элементом «революционной демократии» из состава советов, комитетов, Демократическое совещание

заклучало в себе и значительные контингенты просто демократии, вкрапленные в городские и земские самоуправления, профессиональные союзы, кооперативы и т. д. Совещание должно было по мысли инициаторов установить единый демократический фронт, организовать власть и составить постоянный «революционный парламент» для руководства ею впредь до Учредительного собрания.

Эта идея и возможность одностороннего захвата власти вызвали большую тревогу и протесты не только в стане буржуазии, но даже в среде самой демократии: так, совет кооперативных съездов заявил, что «Всероссийское совещание должно быть общенациональным и должно быть созвано государственной властью. В нем должны быть представлены все слои населения» ...

Надежды и страхи не оправдались. Совещание проявило поразительное отсутствие чувства государственности и полный разброд мысли, полное отсутствие среди демократии какого бы то ни было единства взглядов даже по основным вопросам государственной жизни. Этот раскол и неспособность как нельзя более ярко определились в резолюции по тому главному вопросу, ради которого собиралось совещание. Голосование формулы за необходимость коалиции дало 766 голосов против 688; поправка об исключении к. д. — принята 565 голосами против 483; наконец после этого резолюция в целом о необходимости коалиции отвергнута 813 голосами против 183.

Это голосование нанесло, несомненно, моральный удар демократии и лишило всякого авторитета Демократическое совещание. Чтобы выйти из положительно непристойного положения, вожди революционной демократии, сняв совершенно вопрос о коалиции, с огромным трудом провели новое постановление, в силу которого будущее правительство должно было руководствоваться «программой 14 августа»<sup>5</sup>, из состава совещания выделялся представительный орган — Предпарламент<sup>6</sup>, причем, «в случае привлечения в состав правительства и цензовых элементов», таковой должен был пополняться делегатами от буржуазных групп; наконец, предусмотрена была ответственность правительства перед парламентом.

Почти вся пресса, хотя и по различным побуждениям, напутствовала безвременно угасшее Демократическое совещание однообразной эпитафией: «В потоке слов погибла еще одна революционная иллюзия».

Неудивительно, что Керенский счел возможным игнорировать все положения совещания. И после знаменитых заседаний в Малахитовом зале, где в бесконечном словесном турнире еще раз столкнулись представители революционной демократии и «цензовые

элементы», к 26-му сентября было достигнуто, наконец, соглашение, в силу которого признана была коалиция и независимость правительства; предпарламенту, переименованному в «Совет российской республики», решено было дать законосовещательный характер и предоставить созыв его правительству.

Наконец, после длительных споров совместными усилиями двух борющихся сторон выработана и опубликована декларация, заключающая в себе обычные перепевы программ, воззваний, резолюций, имевших один общий недостаток — нереальность в обстановке войны, голода и анархии. И хотя «основными и первейшими задачами» своими правительство поставило «защиту родины от врага внешнего, восстановление законности и порядка и доведение страны до полновластного Учредительного собрания», т. е. те именно задачи, которые поставлены были и «корниловской программой», но оставалось совершенно не ясным, какими методами будет добиваться верховная власть своей цели. Методами государственного принуждения, или правительственной кротости?

Немедленно откликнулся Петроградский Совет, возглавленный в эти дни Бронштейном (Троцким), резолюцией от 25-го сентября: «Совет заявляет: правительству буржуазного всевластия и контрреволюционного насилия мы — рабочие и гарнизон Петрограда не окажем никакой поддержки... Весть о новой власти встретит со стороны всей революционной демократии один ответ: в отставку!.. И опираясь на этот единственный голос подлинной демократии. Всероссийский съезд советов создаст истинную революционную власть. Совет призывает пролетарские и солдатские организации к сплочению своих рядов»...

Итак, открытая война объявлена. Какой же отклик находила эта борьба за власть вождей среди их «армии» — народных масс — этого многоликого сфинкса, в котором каждое течение находило основание своего первородства. Никакого. Народ интересовался реальными ценностями, проявлял глубокое безразличие к вопросам государственного устройства и, видя ежечасное ухудшение своего правового и хозяйственного положения, роптал и глухо волновался. Народ хотел хлеба и мира. И не мог поверить, что хлеб и мир немедленно не могут дать ему никто: ни Корнилов, ни Керенский, ни Церетели, ни Ленин.

